



1

ГОВОРИ

ТАТЬЯНА
БОГАТЫРЁВА

РОМАН

Москва, 2024

альпина
ПРОЗА

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2=411.2)6-44
Б73

Редактор АНАСТАСИЯ ШЕВЧЕНКО

Богатырёва Т.

Б73 Говори: [роман] / Татьяна Богатырёва. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 176 с.

ISBN 978-5-00223-151-5

Герои романа-антиутопии Татьяны Богатырёвой живут в полувоенном закрытом государстве, где разрешена смертная казнь. Евгений с детства зачарован темой смерти, и со временем она становится его профессией: он получает должность надзирателя в месте, где казнят людей. Евгений многое знает о смерти и гораздо меньше — о жизни. История одного преступления и наказания перевернет не только его жизнь, но и судьбы его близких: младшего брата — конформиста Игоря и протестующей против установленного порядка Татьяны. «Говори» — история о том, как неуклонно среда и окружение влияют на человека, и размышление о трансформации страха смерти, порождающего насилие и жестокость.

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-151-5

© Т. Богатырёва, 2024
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

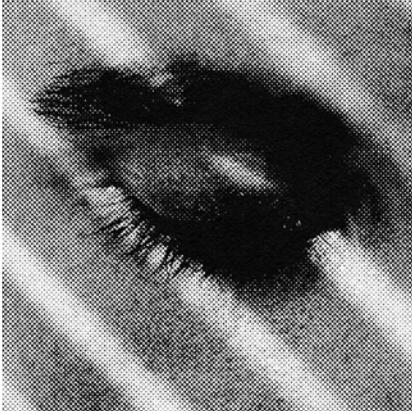
ЧАСТЬ I

ПРИНЦИП МАХА

Принцип Маха — утверждение, согласно которому инертные свойства каждого физического тела определяются всеми остальными физическими телами во Вселенной.

Инертность — свойство тел препятствовать изменению характера своего движения (скорости). Инертность тела проявляется, в частности, в том, что оно сохраняет свое движение при отсутствии действующих сил.

В настоящее время однозначно не ясно, справедлив или нет принцип Маха. Проблема-тична и разработка методологии эксперимента либо косвенной методики, подтверждающей или опровергающей принцип Маха.



ОУ — НЕТ

ИГОРЬ

Помню жаркое лето, у деда в доме, наша семейная дача. Сосны, хвоя на жухлой траве — все такое сухое: поднеси спичку — и мир вспыхнет. Женя наступал босыми ступнями на рыжие иголки, на пыль, я шел следом, хотел, как он, босиком — тоже. Все время ойкал. «Не позорься», — сказал мне Женя. И я надел кеды. Он трогал пальцами кору, окаменелую кожу старика-гиганта, на пальцах оставалась липкая смола, они слипались, и на них тоже оседала пыль. Мы лежали на спине, и он так долго смотрел в небо, что — иногда я так правда думаю, — именно тогда с ним что-то случилось. Чужое, непонятное — может, его грудная клетка распахнулась и души этих молчащих сосен вошли в него и остались там расти. Женя молчал. А мне стало страшно.

— Мы пришли. Сейчас забьем куру, — сказал дед.

Женя кивнул, само собой, ничего особенного, и пошел за дедом. Родители были в городе, если бы они приехали, они бы не разрешили нам смотреть, этого бы не было, обошлось. Но они были в городе. Я не хотел видеть и не хотел быть трусом, разрываемый желанием всюду следовать за Женей и потребностью забиться в самый дальний угол нашего с ним чердака, лишь бы не смотреть, как они с дедом направляются в курятник.

Ладони вспотели. Они потели почти постоянно, когда я боялся, от этого у меня на пальцах были водянистые плотные шарики: бородавки, говорил Женя, ничего страшного, это пройдет, говорила мама. Мама — врач, она знала.

И я поплелся за ними. Жаркая глухая пустота пульсировала в ушах, в голове кто-то ухал. Дед кряхтел, когда наклонялся, — артрит. Одной рукой он придавил, прижимая крылья, курицу к доске на траве, второй занес небольшой топорик. Жаркая пустота заполнила меня полностью, дошла до ног, они стали ватными, и я зажмурился.

Когда я открыл глаза, все плыло. Женя сидел на корточках возле чего-то маленького, похожего на бежевый теннисный мячик. Куриная голова смотрела на Женю янтарным глазом, открывался и закрывался клюв. Женя протянул руку и дотронулся до клюва пальцем.

Я описался, мне стыдно, мне тогда было уже девять лет. Ждал, когда он начнет смеяться. Но то, что он сделал, было гораздо хуже — он не смеялся. Он смотрел сквозь меня и не видел, потому что он смотрел на что-то другое, что-то, что существует только для него, и хода туда мне явно нет.

Это потом я буду думать, как это все по-идиотски просто и несправедливо, — или ты принимаешь участие в том, что тебе не хочется делать, или ты будешь просто пустым местом, ничем. Что так во всем, и никому не важно, к чему могут привести твои действия или — что еще хуже — к чему в конце концов приводит бездействие. Потом, а тогда мне было просто неудобно, так, как будто я лишний здесь: никому не брат, никому не внук и не сын.

* * *

А еще я помню, как Женя впервые (кажется) открыл для себя чудесный мир чужих эмоций, выяснил опытным путем, что на них можно влиять в зависимости от того, что ты хочешь перед собой увидеть. Мама тогда взяла нас с собой в банк. После работы она зашла за нами на продленку, а потом мы пошли в отделение банка. Часов шесть вечера, конец рабочего дня, была большая живая очередь, потому что в терминале с номерками закончилась бумага.

Женя приметил мальчика сразу. Он стоял через три человека от нас, его мать с тяжелыми

сумками сидела на скамье. Было душно, и мальчик был весь потный, у него уже явно было ожирение, тут не свалишь на крупную кость. Женя смотрел на мальчика в упор, в спину, пока тот не оторвался от своей приставки и не встретился взглядом с ним. С хорошо мне знакомым ничего не выражающим взглядом.

Мальчишка отвернулся. Потом посмотрел через плечо. Женя изучал его, как изучал отрубленную голову курицы, как изучал игрушки — свои и мои тоже, ему было без разницы, он разбирали по частям машинки, расковыривал картонные башенки макетов миниатюрных домов — просто чтобы посмотреть, что внутри, и тут же потерять к этому всякий интерес.

Мальчику становилось все беспокойнее. Женя смотрел и смотрел на него, пока тот не побежал к матери. Та его, кажется, отругала, я не помню. Я помню только, что начал понимать: рядом со мной находится нечто, оно видит то, что не видно мне. Что это скорее страшно, чем плохо или хорошо. Что я, маленький Игорь, любимец мамы, очень много времени должен проводить наедине с тем, кто в одиннадцать лет любит пугать толстых мальчиков и трогать отрубленные головы животных. Я тогда этого не ценил, его — не ценил, я только вдруг осознал, что Женя поймет — скоро, скорее всего скоро — что рядом с ним живой брат, брат, которому тоже можно сделать больно.

О том, как это работает. Человек не может постоянно испытывать страх и боль. На самом деле боль длится всего секунд семь или восемь, а после наш воспаленный мозг, или то, что называют душой, попадает в воронку, накручивает и изучает, смотрит и смотрит на повторе, переживает вновь. И эта несколькосекундная боль может длиться годами — ее фантом, отголосок, помноженный на все, что мы знаем или будем знать.

Но постоянный дискомфорт рано или поздно перерастает в норму, мы защищаем себя, убеждаясь в том, что боль — это кайф, а смерть — это жизнь, или еще что-то в том же роде. По законам всех книг серии «Психология за час» я должен был сломаться, и быстро. Возненавидеть брата до белого шума в ушах, а если на это не хватит смелости, преклоняться ему подобострастно и раболепно до тех пор, пока это не станет страшнее возможной изначально ненависти.

Я слабак. Я люблю самые легкие пути и поэтому выбрал второе.

Я люблю брата настолько, что не могу об этом говорить. Потому что я не желаю делиться с миром своей любовью. Не стоит упоминать имя бога всуе — вы вообще заслуживаете ли это знать? Это еще приведет к конфликтам,

внутренним и внешним, но потом, сейчас нам девять и одиннадцать лет, я заперт в комнате с монстром, и потому мне очень страшно засыпать. Я еще совсем не ценю то, что ночью я могу смотреть на него в упор, рассматривать его, и мне ничего за это не будет, сейчас мне просто страшно оставаться с Женей наедине, и я только и делаю, что нахожусь с ним один на один, что бы ни происходило и куда бы мы ни шли. Женя и его хвост, Женя и его тень.

* * *

А вот мама Женю не любит. Однажды, когда дома были друзья отца и взрослые пили вино на кухне и смеялись своим шуткам в мире, куда детям вход заказан, мама посадила его на стул в комнате. Он что-то сделал, не помню что, но отец точно был зол, сказал, что Женя наказан и ко взрослым не пойдет. Мама взяла его за руку и отвела в нашу комнату. Она посадила его на стул. Сказала, что ему следует подумать о своем поведении. (Что он сделал? Опять кидал камнями в котов во дворе, или до котов он додумался уже позже?) Посадила на стул. А мне велела идти с ней на кухню, потому что папа сказал, что Женя наказан, а я не отлипаю от него никогда, и ей это, кстати, тоже не нравится совсем. Женин вечер — подумать о своем поведении, а не играть с братом.

Хотя какие уж тут игры.

И я сидел со взрослыми, а когда надоело, незаметно выскользнул в коридор. Было уже совсем темно, вечер почти совсем перешел в ночь, а они все сидели.

И Женя сидел. В комнате, на стуле, в расслабленной позе, чуть сгорбившись. Помню как сейчас, все помню — он даже не поменял позы с момента, когда мама посадила его на этот стул. Он улыбался. Маленький мальчик сидит на стуле посреди темной комнаты, в позе, которую сохраняет вот уже несколько часов, улыбается своим мыслям и ни на что не реагирует.

Не зная, куда себя деть, понимая, что родители все еще заняты, что родители совсем о нас забыли, я стоял дурак дураком и смотрел на стул. На его резные деревянные ножки. А брат смотрел на меня и улыбался. Что делать — идти сказать родителям, что нам с ним уже давно пора спать? Что Женя там так и сидит? Ничего в итоге не сделал трусливый нерешительный Игорь, Игорь, который писается в штаны, когда видит, как забивают животных. Все, на что меняхватило, и то через какое-то очень даже продолжительное время — переодеться в пижаму, почистить зубы и лечь в постель, накрывшись одеялом с головой, лишь бы не видеть, как он сидит на стуле, как улыбается своей жуткой улыбкой, улыбкой, которая из любого сделает чудовище, не только из маленького мальчика.

В конце концов я задремал, лежа на спине, надежно укрытый одеялом до самой макушки.

Проснулся от того, что хлопнула дверь, а за окном, где остановилось такси, подвыпившие гости шумно утрамбовывали себя в салон, мечтая вслух о доме и о теплой постели. Лежал и ждал, и слушал, как мама вспоминает о нас. И вот она заглядывает, чтобы проверить наш сон. Видит Женю, все еще сидящего на стуле, и пугается, пугается окончательно — потому что если ты не понимаешь своего сына, когда ему всего одиннадцать лет, то что же будет дальше? Потому что от непонимания до ненависти один шаг, нас ведь очень пугает все чужеродное, алогичное, иное.

* * *

К тому времени, как родители созрели для того, чтобы отвести Женю к детскому психологу, я уже окончательно переболел страхом перед ним и стал жаждать его внимания. В идеале — быть им, но до этого я, если честно, дойду много позже.

И пока мама записывает его по телефону к доктору, мы отправляемся во двор, где Женя загоняет в яму котов и методично обстреливает камнями.

Ребята со двора не разделяют его интересов. Гнусным психом кажется им Женя, гнусным, да еще и с мелким хлюпиком-прилипалой на хвосте. Они называют меня Жениной свитой, и ни о какой дружбе с другими детьми,

о которой я наивно мечтаю, конечно, уже не может быть речи. За котов в яме, за хвостик в виде брата и еще за целый ряд странностей они решают Женю как следует побить, но уже на пятой минуте драка прекращается. Потому что Женя не сопротивляется, лежит себе спиной в луже и улыбается разбитым лицом.

Мне их не понять. Их может понять разве что наша мама, которая видит сны про экзорцистов и детей, в которых вселяется дьявол. Которая в конце концов захочет сбежать от старшего сына. А пока Женя лежит в луже, вытирает рукавом соплекровящий нос и улыбается так, как будто открыл какую-то очень интересную истину, нам неведомую, и дети, смущенные и испугавшиеся, уходят прочь обособленной, сплоченной перед лицом врага стайей. Я остаюсь, и, как всегда, мне нет места — ни в луже рядом с Женей, ни на стройке за двором, куда отправляются играть соседские дети.

Мне девять лет, я стою и понимаю, что та жизнь, что мне уготована, не устраивает меня уже сейчас. А еще я остро чувствую — честное слово, уже тогда я чувствовал это, — невыразимое бессилие перед миром, в котором мне предстоит жить.

* * *

Когда Женя пошел в школу, маме стало легче. Она старалась не оставаться с ним наедине,

потому и со мной до школы практически не оставалась. Маме стало легче, а мне тяжелее — я не знал, куда себя деть и чем заняться. Мамы я стеснялся. Я не мог разделить ее чувств к старшему сыну, ведь мир тогда — уже тогда — незаметно дал трещину, стал раскалываться, чтобы разделиться в конце концов на два лагеря: большой лагерь живущих людей и маленький такой лагерь Жени и его смертников. Все было понятно уже тогда, если вдуматься.

Брат никак не комментировал свое пребывание в школе, ничего не говорил. Он вообще был очень молчаливым в детстве. В конце концов я пригляделся и разгадал его — Женя спал с открытыми глазами, иногда в прямом, а иногда и в переносном смысле.

Мама не забирала его, он ходил в школу и возвращался сам, благо школа находилась через квартал от нашего двора. Он ничего не говорил, а я ни о чем не спрашивал — высокие отношения. Я просто очень ждал его, каждый день, не покупаясь на мамины уловки и заманки, а их было множество — она правда хотела быть (да и была) хорошей мамой, из тех, кому интересно со своими детьми. Меня не интересовали ни первая в моей жизни поездка в метро, ни поход в магазин игрушек. Да и не мог я втолковать маме, что, появившись у меня новая игрушка, к вечеру она уже будет аккуратно разобрана братом — обязательно в моем присутствии, потому что ему одинаково интересно и то, что находится

у игрушки внутри, и то, что я буду чувствовать, когда он будет ломать ее.

В классе я моментально прослыл дебилом и, получив эту «почетную роль», играл ее из сезона в сезон до самого выпуска. Теперь мы ходили из школы вместе. Иногда — таких случаев по пальцам пересчитать на самом деле, но как хорошо я их помню! — мы гуляли по городу. Иногда Женя не хотел идти на занятия и не шел, а я всегда хотел того же, что и он. Поэтому чем старше он становился, тем реже мы посещали это учебное заведение. Окончил одиннадцатый класс он при этом на отлично. Он прекрасно умел делать то, что ему не нравилось, монотонно и безэмоционально, как машина, — без осечек и сбоев. Если же ему что-то нравилось, он становился в этом лучшим.

На выпускной он не пошел и так и не забрал свои вещи из школы, хотя от нее до нашего дома было идти десять минут быстрым шагом. Он расставался с вещами так же легко, как и приобретал их. А мне было жаль старого толстого альбома с репродукциями Иеронима Босха, на немецком языке, с белой закладкой-ленточкой и замусоленными уголками суперобложки. Отец привез альбом из заграничной командировки, и вообще-то это было что-то вроде коллективной семейной ценности. Но Жене она понадобилась для семинара по литературе — они несколько недель проходили

Достоевского, и почему-то это все было как-то связано с Босхом, Бахом и словарем христианских терминов. Женю очень заинтересовал Достоевский. Он даже немного от этого проснулся. К концу полугодия Женя прочитал все, кроме ранних его повестей, и переключился на Уильяма Блейка.

* * *

В какой-то момент ему вдруг стал интересен мир вокруг. Он поступил сразу в четыре университета и совершенно спокойно решал, что же именно ему предпочесть. Ни у кого не спрашивая, ни с кем не советуясь. Мне было разрешено присутствовать при этом процессе, не вмешиваясь, конечно.

Когда перед моими глазами уже туманно вырисовывалось пока далекое, но вполне реальное окончание школы, отцу предложили повышение. Он работал в частной клинике, и хозяева были, насколько я помню, шведы или финны. Отцу сказали, что он молодец и вполне мог бы быть заведующим отделения. Все складывалось как нельзя более удачно, особенно для мамы, — я должен был уехать с ними. Выучить английский, получить европейский аттестат. По маминскому замыслу все могло бы как-то наладиться: они оставили бы Жене квартиру и общались бы с ним по телефону время от времени (эпистолярный жанр для матери и сына, которые годами

не говорили друг другу больше, чем «да» или «нет», конечно же, был неактуален).

Я кожей чувствовал ее радостное напряжение, этот праздник ожидания праздника — быть наконец избавленной от необходимости находиться рядом с человеком, который так тебя пугает. Когда Женя входил в комнату, она вздрагивала. Так было не раз и не два, и чем старше он становился, тем больше она начинала бояться садиться спиной к двери.

Я все ей испортил. Мне правда очень жаль ее, честное слово, тогда было жаль, жаль и сейчас. Я только могу порадоваться тому, что она никогда так и не увидела Жениных смертников и уж тем более никогда им не завидовала. А я видел. И даже завидовал. Я много чего делал такого, о чем она никогда не узнает. Так что в ее памяти я останусь застенчивым и добрым ребенком, школьником-дебилем, старшеклассником-одиночкой без хобби, интересов и друзей, который до того помешан на своем чудовищном братце, что не может даже в воображении представить свое существование вдали от него.

Тогда было много крика, шума, домашних скандалов и бумажной волокиты. Родители сначала думали, что я шучу. Шутить я не умел, зато мой брат шутил, но все его шутки выходили далеко за границы человеческого чувства юмора, и повторить такое мне было не дано. Когда они наконец поняли, что я не шучу, долго убеждали себя в том, что я протестую. В силу

подростковой неустойчивой к потрясениям психики и нездоровой зловещей атмосферы, в которой прошло мое детство.

Я стоял на своем и был непоколебим. То есть я, конечно, тоже участвовал в целом цикле истерик, связанных с моим отказом расставаться с братом.

Мы ходили по идеальному замкнутому кругу. Я ехать без Жени не хотел. Женя, естественно, вообще никуда не собирался ехать. А если бы даже и можно было его каким-то чудом уговорить, купить или заставить, так или иначе мамин план избавиться от присутствия в ее жизни старшего сына реализовать было невозможно.

Они взывали к Жене каждый на свой лад. Наш отец был намного умнее, да и храбрее мамы — ее иррациональный страх перед сыном укрывал ее, как колпак из мурашек и затравленного ожидания. Отец хотя бы пытался нас понять — честно и искренне стремился взглянуть на все это нашими глазами. Помню, что равнодушие Жени потрясло его. Даже, я бы сказал, поразило. Ему действительно было все равно. Он никуда ехать не собирался. Ему уже стукнуло восемнадцать. У него были прописка и жилплощадь, он числился в престижном вузе на повышенной стипендии, а когда ему начало чего-то не хватать, он спокойно шел и брал это. Если ему не хватало информации, он шел в библиотеку. Если не хватало денег, находил подработку.

Он всегда безошибочно и бесповоротно решал, что именно ему нужно, а что нет и почему. Он не то чтобы не хотел уезжать, нет. Уезжать ему просто было не нужно.

Когда я спросил, могу ли остаться с ним, он ответил, что ему все равно. Потом вдруг всмотрелся в меня и выдал: мол, *нужно ли мне* оставаться с ним, *как я думаю*. Я сказал, что, конечно, думаю, что мне это очень нужно. Женя посмотрел на меня почти с жалостью, как на родного и знакомого, но клинического идиота. Для него всегда все было так просто, он упрощал до немыслимой степени все человеческие и нечеловеческие взаимодействия. Так просто: раз нужно — оставайся, *раз не нужно* — не оставайся.

Монах и философ Уильям Оккам считал, что множить сущности без надобности не следует. Женя был согласен с монахом.

Разобравшись, наконец, с теми взаимосвязями, которые он понять не мог, он сделал простой вывод: «Оставайся. А ма и па пусть едут себе, *раз им нужно*».

Мама все еще пыталась протестовать, а я набрался невесть откуда снизошедшей на меня смелости и замямлил что-то про социальные службы и органы опеки, в которые якобы я могу обратиться. Я могу обратиться к кому угодно, к президенту — нашему или американскому, к Богу или даже к Сатане. Если это поможет мне остаться с братом.

Маму я в конце концов предал. Женю предаю еще не раз, когда вырасту. Я еще тот предатель и стукач. Единственный, кого я все никак не могу предать, как ни пытаюсь, — это я сам. Потому что там и предавать-то толком нечего.

Так что в итоге каждый получил свое, такой вот Соломонов суд, где все стороны идут туда, где им, как им кажется, нужно быть. Сыну — стокгольмский синдром, отцу — Стокгольм реальный.

Я никому об этом не говорю. Я — Игорь Андреевич Титов. Я занят тем, что стараюсь сделать свою жизнь невыносимой. А потом сажу и не могу этого выносить.

ЖЕНЯ

— *...in the following semester you will end occupations and the semester of testing during which we will define will begin, what specialty suits you...*

Она обратила на меня внимание, потому что я, как и она, не слушал лектора. Она заметила меня, — чего только интересного ни обнаружишь рядом с собой при пристальном рассмотрении, со скуки. Динамик фонил. Я смотрел на зал — пыльная огромная аудитория. Это был дворец, потом это был музей, потом там не было ничего, теперь это был вуз. Солнечные лучи делали пыль заметной, объемной, я подумал тогда,

что это могли бы быть астероиды, пояс астероидов между Марсом и Юпитером, пылинки, а мы, люди в помещении, люди под куполом — гигантские исполины, титаны космоса.

— ...*the next year will be devoted to development of the chosen specialty...*

Таня. Ларина? Смешно. Нет. Евгений. Онегин. Что угодно. Как здесь скучно. Как скучно — везде. У нее были очень короткие волосы, почти ежик, поднятый ворот, пальцы, сжатые на лацкане пиджака, вышедшего из моды лет эдак дцать назад, успевшего снова войти в моду и снова устаревшего.

Скучно — я понимал. Мне было скучно всегда и везде. Я наблюдал, от скуки, но стоило всмотреться внимательнее, изучить, оно снова приходило — абсолютное ничто, штиль, как будто вокруг становилось слишком мало воздуха.

Я понимал всех и всегда. Ценный навык, но не сказал бы, что не мучительный.

Я не учусь здесь, сказала Таня, я зашла сюда просто так. Мне некуда себя деть.

Мне тоже.

Поэтому она надумала со мной переспать. Она вообще к тому моменту уже много чего себе надумала, это нормально. Все незнакомцы для нас — как пустые оболочки, безликие тела в детской раскраске. Остановив свой выбор на ком-то, мы фокусируем на нем взгляд и принимаемся раскрашивать его по образу и подобию своей идеи. Это я увижу, а на то я закрою

глаза. То, чего не хватает, я допридумаю. Все сделаю так, чтобы детали могли соответствовать друг другу. Эта нехитрая подготовительная работа проводится в сознании на раз-два, ее и заметить-то сложно, не то что остановить.

Я не против, пусть себе раскрашивает, эта обиженная на мир девочка, которой в кайф заявлять о себе на чужих, совершенно не интересующих ее лекциях. Девочки, которые укрывают себя широкими пиджаками и стригут волосы под мальчика, девочки, которые подводят черным глаза до самых висков, девочки, которым не интересны лекции. Их политика примитивна и локальна — какое им дело до войны мира, если прямо перед ними разворачивается их личная война?

Таня-не-Ларина-Таня-майн-кампф*. Но ведь «Майн кампф»** Адольфу помогали писать люди, из тех, кто был хитрее и умнее его. Он просто оказался в нужное время в нужном месте и был неплохим оратором, не лишенным харизмы.

Я думал о прочих причудах Третьего рейха и смотрел на Таню. Она смотрела на меня и думала, что наконец-то встретила стоящего мужика, если под стоящим понимать того, с которым точно не будет скучно. Единственный человек, с которым мне не было скучно, — это я сам, так что я мог ее понять.

Она целовалась так, как будто послезавтра умрет. Скоропостижно и безотлагательно,

*. ** Включена в Федеральный список экстремистских материалов. — *Прим. ред.*

потому у нее остался всего день, чтобы нацеловаться так, чтобы хватило уже наверняка. На случай, если в загробье нет поцелуев. А кто знает? Может, и правда нет. Поэтому я позволял себя целовать с не меньшим воодушевлением.

Игорь ввалился в квартиру как раз во время перерыва в нашем сексуальном марафоне, который начался примерно через час после окончания лекции. Он топтался за дверью, потерянный и терпеливый, сожалеющий о том, что если *эта женщина* (а именно так уже после того, как Таня возжелала влезть в нашу жизнь, основательно и прочно в ней закрепиться, он стал ее называть) останется на ночь, то он окажется не у дел и не поиграет со мной в карты после полуночи.

Карты после полуночи, безвкусная гречка и задушевные разговоры, больше напоминающие то ли допрос с пристрастием, то ли восторженное интервью с его стороны, делают Игорька на редкость счастливым. Который год смотрю, а все удивляюсь. В утопичном Игоревом бытии ничего ему для счастья больше и не надо. Проступает, конечно, липким пóтом после тяжелого сна у него на висках тревога, ну так на то можно полотенце в миске с холодной водой держать, — это я его научил, удивительное средство, лично мне помогает от всего. От головной до какой-нибудь хитросложенной душевной боли. Страусы, когда бошки свои неразумные в песок суют, считают,

что раз они ничего не видят, то и их не видно ни черта, хотя это, кажется, миф. Вот так примерно и работает эта штука с мокрым полотенцем: набросил себе на лицо — и нет рядом с тобой мамы, которая спит и видит, как бы тебя если не в дурку, то хотя бы в детский дом спровадить.

В тот знаменательный вечер *эта женщина* у нас не осталась. Но я уже знал, что еще чуть-чуть, очень скоро, — и ей очень даже понадобится остаться. Мне было слишком скучно, чтобы долго об этом думать, поэтому я и не думал.

Когда она начала зевать, уверенная в незаметности этого действия (есть такой особый вид зевания, сквозь зубы), я посчитал своевременным поделиться с ней информацией о том, что ей пора. Поскольку день выдался длинным и, на мой вкус, излишне перегруженным всевозможными социальными взаимодействиями, я донес до нее свой меседж в максимально простой и короткой форме. «Тебе пора», — сказал я.

Она завелась было насчет того, как обидно и прямолинейно ее поймали, на что пришлось найти в себе силы на еще одно вразумление — про то, что, по большому счету, это ей очень хотелось со мной переспать. Что мы и сделали. Поэтому ей пора пойти к себе домой или в то место, в которое *ей нужно, как она считает*, попасть и где ей стоит быть.

Из нее, как горошины из банки, посыпались какие-то эмоциональные доводы и контраргументы. Пришлось вздохнуть и разжевать.

Не считает же она, в самом деле, что ей стоит быть здесь? Она не настолько глупа, чтобы выбирать себе место для пребывания у первого встречного в квартире. Может, тут отстойный район? Может, не продают ее любимый вид мяса в магазине? Или до работы ей будет далеко? Что за чушь — обосновываться у первых встречных.

Полагаю, что подобные вещи слушать обидно. Мне нравятся эмоции, проступающие на лицах людей, когда они слышат то, чего не могут понять, или могут, но это им неприятно. Эти эмоции проступают, как трещины на масляных холстах, как морщины.

Она уверила меня, что я — то еще бесчувственное полено. Меня это устроило. Я очень устаю от того, что в любом месте и в любое время в конце концов начинаю ощущать себя клоуном, что твой петрушка. Который чуть не лбом должен биться о край сцены, лишь бы до зрителей хоть что-то дошло.

Одного не учел продвинутый клоун Евгений. Что в своем мазохизме она в конце концов переплюнет даже братца. Что ей понравится ходить туда, куда не пускают. Ничего не решаемого и криминального, просто я всегда расстраиваюсь от того, что могу что-то недоглядеть и, как следствие, что-то упустить. Никогда ведь не знаешь, что в итоге окажется важным.

Мне очень хочется донести до моей научной руководительницы то, что ей, возможно, очень круто было бы работать воспитательницей в детском лагере. Там ведь и свежий воздух, и неразумные дети, которым только и надо, что не спать во время отбоя. И все тебя боятся, а если повезет, то может даже найдутся те, кто будет смотреть тебе в рот.

Не очень это у нее, видно, удачная была мысль — лезть на кафедру политологии. Мне хочется, но я молчу, это похоже на зуд: вот укусил тебя комар где-то под одеждой, так что и не дотянуться сразу, да и руки заняты.

Политика невмешательства не позволяет мне раздавать скрытые истины людям направо и налево. Мне пока больше нравится быть клоуном, в чем она меня и обвиняет.

Не нравятся мне дамы, которые молодятся. Не в смысле одеваются не по возрасту — нет, на это у нее хватает чувства внутренней самооценки и интеллекта. Она из кожи вон лезет, чтобы домолодиться до моего состояния — отбросить лет эдак тридцать пять. Как ей кажется. Дойти со своей ого какой высоты до примитива молодого человека, за которого все решают гормоны.

Растягивает обрюзгший рот, чтобы убедить меня в том, что не стоит так воспевать автократию. Что от тоталитаризма до фашизма один

шаг. Что дело, мол, тут даже не в том, что никто в своем уме это не одобрит и не пропустит, а в том, как именно и в какой позе я не прав.

Вы, молодежь, совсем не знаете, что такое Великая Отечественная война, — говорят нам с бессильным раздражением, прикрытым снисходительной улыбкой, снова и снова. Доходят в своем желании сохранить хоть что-то, что было хорошего в прошлом, перетащить это в настоящее и прочно это нечто в настоящем укрепить, да так, чтобы и на будущее хоть чуть-чуть, а хватило. В этой невнятной гонке сначала появляются георгиевские ленточки на Девятое мая, а потом эти ленточки печатают на водке и этикетках мороженого, вплетают их на заводах в летние шлепанцы-сланцы, повязывают на выхлопные трубы автомобилей.

— Позор, — расстроено комментирую я.

Научница удовлетворенно кивает: показалось ей, бедной, что это я с ней согласен. Хотя что именно она мне проповедовала, я точно сказать не могу — думал о проклятых ленточках, дошедших до абсурда в своем патриотизме.

Тычет в меня моей же работой. Приказывает читать. Вслух. Я расстроен. Нет, я люблю приказы, я даже не против, чтобы мне кто-то что-то приказал, только не свита та петля — сколько ни смотрю и ни высматриваю, не вижу я человека, у которого бы это выходило не жалко и не смешно. Рядом не стояло.

Но все-таки приходится читать.

Антиутопия ставит под сомнение саму возможность позитивного воплощения любого интеллектуального преобразовательного проекта. В отличие от обращенной в основном в настоящее и прошлое утопии, антиутопия чаще всего обращена в будущее. Общественная модель, в которой существует автор, — это своеобразная точка отсчета, сильно улучшенный образец этой модели — утопия, максимально пессимистичный вариант — антиутопия.

В узком смысле антиутопия это тоталитаризм и диктат, в широком — абсолютно любое общество, в котором возобладали негативные тенденции развития.

— Да, и что? — говорю наконец я, погрузившись в собственный текст.

— У вас дипломная работа о капитализме как о преобразовательном проекте общества, — сердится она.

Думает, что я совсем тупой.

— Да, так и есть, — я совершенно с ней согласен.

— И где? Где это все? Там у вас в конце малюсенькая приписка в один абзац. Евгений,